

**Жора, Иваныч,
Саша и Сашенька**

рассказы

Сергей Минский



Сергей Минский

Жора, Иваныч, Саша и Сашенька

«Автор»

2015

Минский С. А.

Жора, Иваныч, Саша и Сашенька / С. А. Минский — «Автор»,
2015

Главный герой всех рассказов – ирония. Она везде: даже там, где, казалось бы, иронии вообще нет места. Просто довольно часто ирония – на грани фола, и ее можно распознать, лишь поднявшись над ситуацией. Но у персонажей, ввергнутых собственными судьбами в непростые с точки зрения повседневной обыденности условия, не всегда хватает на это ума. Они реагируют на раздражители так, как у них это получается.

© Минский С. А., 2015

© Автор, 2015

Содержание

Ондатровая шапка	5
Жора	10
В грибы	13
Герои	17
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Сергей Минский

Жора, Иваныч, Саша и Сашенька

Ондатровая шапка

Ее первую любовь – еще школьную, как, впрочем, оказалось, и последнюю, звали Семеном. Семен, мало того, что косая сажень в плечах, так еще и лицом вышел – хоть куда. А потому на девушку прыщавенькую – ни рожи, ни кожи – внимания так и не обратил, сколько она вокруг ни вилась. Вот такая она случилась в ее жизни – любовь: хоть и безответная, но все же любовь. Другим и такого счастья не достается: сладко мучиться ночами, повторяя имя любимого. Потому и сына, появившегося после одной из спонтанных вечеринок – уже ближе к тридцати, когда временами хотелось выть от постоянно сопровождавшей несправедливости жизни, она назвала Сенечкой. Не задумывалась особо – почему: раз – и назвала. Мать спросила – как назовешь ребенка, и она ответила. Не задумываясь. Как сомнамбула. Потому что оно – имя – когда-то слишком часто вертелось в голове. Потом утонуло в бессознательной сути, а вот нынче – когда понадобилось оно из нее и вынырнуло. И оказалось кстати: чувства всколыхнулись, словно тот Семен ее и обрюхатил, словно от него пацаненка родила. Короче, получилось, как в тестах на ответы без осмысливания. Близкий человек? Мама. Гриб? Белый. Фрукт? Яблоко. Поэт? Пушкин. Так и здесь. Имя? Семен. Это потом уже всякие чувства стали приходить – навалились приятной тяжестью: человек же всегда хочет лучшего от жизни. А это и оказалось самым лучшим, что случилось за короткое при отсутствии вереницы значимых событий существование. Точно – существование: его и жизнью-то назвать язык не поворачивается.

Так вот аккуратно к пятидесятой годовщине Октябрьской революции Семен и появился на белый свет. Получив с легкой руки бабушки отчество в честь такого события, он был зарегистрирован Барановым Семеном Владленовичем – от Владимир Ленин. По поводу последнего – в смысле отчества – одна из ее подруг, помянув Господа нашего Иисуса Христа, можно сказать, всуе, тихонько, чтобы ее никто не услышал, поскоблывалась о том, что ведь как назовешь корабль, так он и поплывет.

А по поводу фамилии вообще все просто: бабушке она досталась от ее отца – прадеда Сенечки, переживавшего, что Бог, наградив его кучей детей – аж пятерыми, не дал ему сыновей. Очень уж переживал, бедный, что некому передать фамилию. Ошибся, однако: ни бабушка Семена замужем не побывала, ни мать. Услышаны, видимо, были молитвы старика: кровь его, струившаяся по жилам потомка, оказалась не просто животворящим чудом, смешавшимся с другими потоками крови, чтобы, в конце концов, потерять свою идентичность. Нет, она – благодаря какой-то эзотерической, божественной правде – до сих пор превалировала над остальными, оставаясь, пусть даже и формально, кровью этого рода. Она, словно вода в реке: сколько бы ее не втекало со стороны, на название этот факт никакого значения не оказывает.

Вот так Сенечка и стал не каким-то там Ивановым, Петровым или Сидоровым – всегда гдатыми всяких-разных анекдотов, а Барановым. В этой фамилии стержень чувствовался – о-го-го! Так иногда думал Сеня, когда подрос, когда иногда долгими вечерами лежал тихонько, прежде чем заснуть. Думал: одно то, что желание прадеда настолько пережило его самого, уже о чем-то говорит. Да не просто о чем-то: о духовной силе, заставившей не угаснуть родовое имя. Ему так хотелось ощущать себя большим и сильным после того, как днем большие и сильные называли его «бараном» или «овцой». А еще обиднее, когда это делали ровесники – те, что посильнее. Но особенно отвратительно становилось, когда это же он слышал от мел-

ких, чьи старшие братья становились залогом их неприкосновенности: эти гаденыши особенно задевали растущее вместе с его обладателем самолюбие.

В раннем детстве, да и уже в школе Сеня очень часто болел, а потому занятия спортом обошли его далеко стороной. Что говорить о спорте, когда и физра-то для него оказывалась лишь делом эпизодов, после которых он снова простывал и снова получал на долгий срок освобождения. А когда в какой-то короткий срок не сопливил и не температурил, и отмазаться по справке от врача не удавалось, он давил на материнскую жалость, и она писала записки классному руководителю, чтобы тот сделал на сегодняшний день Сенечке исключение. А в следующий раз тот счастливо заболел или так искусно изображал какое-либо недомогание в школьном медпункте, что отказать ему в справке было просто невозможно.

Вот так и дорос Семен до самого старшего класса: но мало того, что по природе барановской косой саженью в плечах не обзавелся – не то что его прототип, так еще и по слабости бабкиной, да материнской оказался тщедушным. Стыдно сказать, но со стороны любая бы его ровесница, заговори с ней о Семене – ну, типа, как он тебе, точно бы спросила: «Это который? Тот – плюгавенький? Да вы, чо – совсем...?»

Ну, это с той стороны – со стороны противоположного пола. А со стороны Семена, не смотря на всю его тщедушность, интерес к этому противоположному полу был всегда начеку. Ни одного эпизода, наверное, пытливого внимания подростка не упустило: ну, если, например, кто-то из одноклассниц нагнулся за чем-либо упавшим или ветер на улице подол чуть выше обычного приподнимал. Взгляд Семена в такие моменты был тут как тут: он прямо-таки опережал событие, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте.

Когда пришел срок идти Семену в армию, начался его забег по осмотрам да комиссиям, по результатам которых, в конце концов, сложилась ситуация – не дай бог кому. Забраковать его не забраковали, но и на службу не взяли – дали отсрочку на год: типа – давай, сынок, не подкачай. Ты, мол, в последнем резерве у нас: некому будет идти, и ты сгодишься. А, может, типа – мы в тебя, сынок, верим: ты обязательно позанимаешься физрой и станешь за этот год кандидатом в супер солдаты, и вот тогда у тебя появится возможность стать гордостью и матери, и Матери-Родины.

Через год с Семеном не случилось ни того, ни другого, и его еще раз замариновали. И снова сложилась ситуация – ни себе, ни людям. Казалось бы, живи да радуйся: пацаны, вон, делают попытки откосить, да у них ни хрена не получается, а ты переживаешь. Бери – женись, пока суть, да дело. А там, смотришь – один в люльке, а другой уже в животе. Ну, и какая после этого армия?

Мысль – она такая приставучая штука: как влезет в голову, попробуй с ней поспорь. И сколько не говори себе «не надо об этом даже думать», это то же самое, что и «не думай про белого бычка». Только сказал себе так, и все – попал.

А началось, вроде, не из чего. Один из знакомых Семена, некий Витюха, у которого одна нога от рождения оказалась короче другой, и армия для которого была заказана раз и навсегда по этому поводу, на его сетование, закатил целую тираду веских аргументов по поводу отсрочек:

– Во-во! Николая, ну этого... – он пощелкал пальцами, – ну, как его? А-а, не-е... точно, ты его не знаешь, – он закатил глаза под лоб, – точно. Ладно... – махнул рукой, – так вот его муржили до двадцати шести, а потом забрали. А ты знаешь, как, говорят, фигово, идти в армию после отсрочек, – со знанием дела, затянувшись беломориной, заявил Витюха, – Будет тебя там потом молодняк драть, – он, кашлянув, сплюнул, – Не-е, запахло: лучше или со своим годом, или ваще – жениться. Ты хочешь, чтоб какой-то щегол над тобой изгалялся? Ну, тогда давай: сиди – жди...

– А то я сам всего этого не знаю, – отмахнулся Семен, – Сам знаю все. А жениться, думаешь, лучше? Ярмо себе на шею повесишь на всю жизнь... Или два года тебя подрочат, или всю жизнь... кто его знает, что лучше.

– Ну, ты даешь: жениться-то все равно придется. Так какая тебе разница – сейчас или потом? Как это...? Раньше сядешь, раньше выйдешь... – загоготал Витюха, – я имею в виду детей: быстрее вырастут.

– Слушай, Витюха, да пош-шел ты со своими подколками. Друг называется: я ему серьезно, а он – хиханьки-хаханьки...

Вот, пожалуй, с этого дня все и завертелось в голове у Семена: стал он и на девчонок по-другому смотреть. Как-то так, словно до этого они почти все на одно лицо были, потому что больше на фигурки их обращал внимание: на ножки, там, попки, грудки. А тут вдруг все разные стали. Лишь в одном все остались похожи: не в сторону Семена поглядывали. Мимо.

Стал Семен и на себя по-другому смотреть. Подойдет к зеркалу, полюбуется: вроде, ничего себе парень. И причеха нормальная, и бреется уже, и одет не чмошно: как-никак уже два года работает после школы – есть за что. Правда, вот шапки ондатровой еще нет: все никак не сподобится. Раньше, вроде, особой надобности в ней не было. И кроличья – чем не шапка. «Но теперь... теперь да, – прилетела шальная мысль, – Теперь обязательно. Девчонки на такое клюнут. Это тебе не какая-то там кроличья... ушаночка. Это шапка – всем шапкам шапка. Шапище, можно сказать. В этом году уже не куплю точно: пока туда-сюда и лето придет. А вот к следующей зиме – обязательно: в доску разобьюсь».

И потекло время в раздумьях о той – другой жизни: в ондатровой шапке, с женой, с детьми и без армии, в которую врачи-сволочи не пустили его два года назад, и в которую теперь он не хочет идти ни за что. Зачем? Затем, чтобы какие-то балбесы – его ровесники, которые уже стали старослужащими, гоняли его? Как засранца, учили премудростям армейской жизни? Да ну.

Ближе к Октябрю – к дню рождения шапка была куплена: бабушке через трех знакомых с огромной переплатой удалось-таки достать вожеленный предмет гардероба, который должен был изменить жизнь Семена до неузнаваемости. Шикарное приобретение даже в руки брать сразу оказалось боязно: не дай бог, не так как-нибудь притронешься и что-нибудь испортишь. А как Семен смотрелся в зеркале! «Ну, прынец – да и только!» – раз за разом повторяла бабушка. А мама даже прослезилась, сказала: «Какой же ты у меня красивый, сынок!» Они продолжали квохтать, пока Семен не прикрикнул на них: мол, сколько же можно болтать об одном и том же, хотя и у самого душа аж заходила от радости. А тут еще Витюха позвонил, сказал, что «есть две биксы неслабые – с квартирой», и что он «договорился с ними о встрече завтра в четыре часа», а еще с них – с Семеном – алкоголь.

– Как прошлый раз? – съехидничал Семен, – В тот притонище? – полушепотом заговорил он, чтобы не услышали домашние, – К тем старушкам тридцатипятилетним?

– Тебе что – плохо было? – обиделся Витюха.

– Если бы не пойло, точно было бы...

– Знаешь что... – Витюха замолчал на какое-то мгновение, но лишь на мгновение, – Да пошел ты...

– Витя, Витя, не кипеши, дружбан, я пошутил. Чем дерьмом плевать, приходи лучше ко мне: покажу что-то офигенное.

– Что ты, чувак, можешь показать мне такое, чему бы я удивился? – все еще обиженно проговорил дружбан, но уже гораздо более спокойно.

– Ну, приходи, увидишь. Слабо на пару этажей подняться?

– Иду, – словно бы отмахнувшись, лениво откликнулся Витюха.

Когда он вошел и увидел шапку, настроение его явно ухудшилось: его мимика этого скрыть просто была не в силах. Но достаточно быстро он взял себя в руки.

– О! Анекдот в тему. Мужик купил себе ондатровую шапку, – Витюха даже не остановился, чтобы, как обычно, задать риторический вопрос – «а, может, ты его знаешь?» – Идет себе, а навстречу ему шобла пацанов: «Мужик, дай закурить?» А он говорит: «Я не курю». Ну, они его покачали и шапку забрали. Через какой-нибудь месяц мужик снова идет, и снова в шапке – еще одну купил. Опять ему навстречу шобла. Говорят «дай закурить», а он снова говорит, что не курит. И опять его отметелили, и шапку забрали. Через некоторое время та же история повторяется – опять «дай закурить». Мужик снимает шапку с головы и – на – ее оземь со словами «когда же вы, суки, уже накуритесь?»

Семен засмеялся, но как-то получилось у него это невесело. Наверное, раньше бы обхотался. Но теперь слухи о том, что не только по ночам, но даже днем умудряются снимать с людей дорогие шапки, уже не были для него чем-то отдаленно абстрактным. Теперь это касалось его напрямую, и он вдруг очень четко ощутил неприязнь к подобного рода людям. Но постарался не заикливаться на этом.

– А что за девчонки, о которых ты говорил? – спросил.

– Обыкновенные. Не бойсь: лет по восемнадцать-девятнадцать. Подружки моей Тоньки по училищу. Как сестра смеется – девчонки суперкласс: не красавицы, зато все, что полагается, все при них по высшему разряду. Потискать будет что. Не дрейфь, старик, – Витюху растащило в улыбку, – может, судьбу свою завтра встретишь?

На следующий день, в субботу Семен полдня готовился: намывался, брился, наглаживался, по ткани пальто даже зачем-то прошелся щеткой, обувь привел в порядок, хотя и так все смотрелось великолепно. Шапку только не трогал. Зачем? Новая же.

Наконец, к двум все готово. Вот-вот раздастся звонок телефона, и Витюха скажет – пора выходить. Ехать-то – аж на другой конец города. Волнение от ожидания того, что подспудно подразумевало подсознание, начинало зашкаливать, выливаясь в нетерпение и в спазмы в животе. «Ну, когда уже этот хрен позвонит? Сколько ж можно...?» – его мысль оборвал звонок.

– Да? Слушаю?

Через три минуты они встретились у подъезда. А минут через сорок подъезжали к при вокзальной площади. Там предстояло пересесть на другой троллейбус.

И тут Семену стало невозможно: живот свело. По всей видимости, перенервничал. А потому миновать вокзал с его отхожим местом не представлялось никакой возможности.

Все случилось быстро и нелепо. Семен забежал в кабинку. Понял, что закрыться не сможет – оторван шпингалет. Понял, что перейти в другую уже не позволит живот, успевший почувствовать конец затянувшегося ожидания. Он быстро расстегнул и стянул штаны, глубоко вдохнул и...

Дверца со скрипом распахнулась, громко, словно кто-то выстрелил, ударившись о стенку перегородки. В проем кабинки шагнул здоровенный мужик. Одной своей огромной ручищей он схватил новую ондатровую шапку Семена, другой – свою старую кроличью, и, сопровождая свое деяние сиплой одышкой и таким же сиплым обращением – «малец, ты и в этой пос...шь», поменял шапки местами и вышел задом вперед, хлопнув дверью.

Семен было попытался подняться, но ощутил ватность в обессиливших ногах и понял всю бесполезность, а потому нелепость это намерения. А через секунду он уже ничего не видел – глаза заволокло слезами.

Первое время все, что было потом, происходило, словно во сне: и то, как приводил себя в порядок, как пошел в железнодорожный отдел милиции, как его отговаривали подавать заявление, еле сдерживаясь от смеха.

– Что – так и сказал: «Ты и в этом пос...шь»? Так прямо и сказал?

– Да! – зло, сквозь зубы процедил Семен, – Так и сказал. Что здесь смешного?

– Да ничего. Я и не смеюсь. С чего вы это взяли? – давился смехом и едва сдерживал улыбку, оттягивая подбородок вниз, а глаза закатывая вверх, дежурный офицер, – Просто я пытаюсь вам объяснить, потерпевший, что шапку вашу мы все равно не найдем. Знаете, сколько у нас подобных случаев? – почему-то спросил он, – Хоть бы свой какой был, а то по вашему описанию точно гастролер какой-то. У нас таких громил...

– Нет! – категорически отрезал потерпевший, – Я хочу подать заявление. Вы его должны найти и посадить.

– Ну, хорошо, хорошо, – вроде бы, согласился дежурный, – но даже если мы его поймем и посадим, вы думаете – к вам вернется ваша шапка?

– Ну не шапка, так деньги за шапку, – настаивал Семен.

– Наивный вы человек, потерпевший, – произнес со вздохом, явно сожалея о сложившейся ситуации, дежурный. В его спонтанном эмоциональном всплеске и выделась, и слышалась такая вселенская усталость, такая безысходность от того, что процедуру эту приходится повторять снова и снова: с Ивановыми, Петровыми, Сидоровыми. А вот теперь еще и с Барановым. И все потому, что за каждое заявление подобного рода с него спросится. И, может быть, даже не просто спросится, а еще и вычтется, – Вы поймите, молодой человек, – вернулся он к разговору после напряженной паузы, – ну, даже если его посадят и назначат выплачивать вам н-ную сумму, то вы свои деньги будете получать копеечными переводами долгие годы. Поверьте мне.

– Ну и пусть, – вконец заупрямился Семен, – зато и маме, и бабушке будет что сказать.

Они еще долго препирались, пока дежурный, которому давно уже было не до смеха, наконец, не сдался. Он, уже почти молча, задавая лишь кое-какие конкретные вопросы, оформил протокол и дал его подписать Семену.

– Ну что – доволен? – он уже не думал о профессиональном такте, – Ни себе, ни людям: и сам ни хрена не получишь, и мне нагадишь.

– Да, доволен, – зло и как-то весело парировал Семен, – словно в нем заговорил дух прадеда, – по всем параметрам доволен. А самое главное мое удовольствие знаешь в чем? – перешел и он на «ты».

– В чем? – машинально спросил дежурный.

– А в том, – засмеялся, облегченно выдохнув, Семен, – что я теперь точно не женюсь, – он поднялся со стула, – не обращая внимания на удивленный взгляд своего визави, взял выделенный ему экземпляр протокола, повернулся и вышел из опорного пункта.

Жора

То, о чем пойдет речь, произошло почти уже в середине восьмидесятых, как раз в то время, когда музыкальный мир взорвал стиль евродиско, когда два немца надавали и американцам, и англичанам по их англо-саксонской сопатке. Но, правда, на их же языке. Я тогда как раз работал в геологоразведочной экспедиции вахтовым методом: две недели – СеверА, две – дома. Летали на «Аннушках» – Ан-24.

На эту парочку нельзя было не обратить внимания. Как только я вошел в здание аэровокзала, я сразу же их увидел. Они стояли недалеко от стойки, где разместился экспедиционный диспетчер, отправлявший спецрейсы нашей экспедиции в Тюменскую область. Они улыбались друг другу, о чем-то беседуя: она жестикулировала, иногда от улыбки переходя на смех, а он держал руки в карманах и был сдержан в чувствах.

А то, что они представляли собой внешне, как выглядели – это вообще отдельная песня.

Ее полная, и это весьма мягко сказано, фигура казалась претенциозной, хотя ничего такого, если рассматривать все в отдельности, на претензию не тянуло. Черное удлиненное пальто, красные полусапожки, большой павловскопосадский платок – черный с красными розами накинут на плечи и завязан впереди. Черные средней длины волосы нарочито небрежно заложены за уши, в которые словно вмонтированы приличные по размерам золотые серьги. В отдельности ничего. Но все вместе отдавало какой-то цыганщиной. И я не сразу догадался почему. Но, присмотревшись, понял: что-то грубоватое скрывалось в ее поведении, не стыкуя детали и опошляя в ней женское начало.

Ее попутчик вызывал во мне не меньшее удивление. Он мне напомнил Шукшина по описанию кого-то из его знакомых. Чуть за колено черный кожаный плащ, перетянутый поясом, кожаная же фуражка-кепка и хромовые офицерские сапоги. Правда, на Шукшина он похож не был совсем: говоря простым языком, покрупнее, посолиднее, что ли. Его внешний вид внушал окружающим желание не просто уважать этого человека, но, скорее, почитать. По крайней мере, мне так показалось. А еще мне показалось, что он лет на двадцать, как минимум, старше меня, что впоследствии так и оказалось: Жоре стукнуло на тот момент сорок три.

Вот таким оказалось мое первое знакомство с Жорой и его дамой сердца – его гражданской женой, которую он немного стеснялся почему-то и в кругу коллег по работе с улыбкой называл «моя корова». Но получалось это у него как-то особенно: изысканно, что ли – без пошлости, без налета превосходства. В его устах обидное, казалось бы, слово звучало примерно так же, как «моя благодетельная». Оно, скорее, просто констатировало конфигурацию, физическую мощь избранницы, без всякой подоплеки. Первое время меня такой пассаж очень удивлял: подобные тонкости мое юное сознание, пораженное тогда большой и чистой любовью, истолковывало в очень высоком ключе.

В тот день я не знал, что эта женщина не летит с нами, и, помню, подумал еще, как с ней кто-то еще поместится: ей точно придется сидеть одной. Но прозвучала команда на посадку, и все прояснилось: я увидел, как они коротко обнялись и тут же отпустили друг друга. Он повернулся и пошел, ни разу не посмотрев назад. «Четко прощается дядя – без сантиментов», – подумал я тогда, не зная ничего об этом человеке. Моя интуиция уже начинала предполагать то, чего мое рациональное сознание не замечало, а именно аскетизм человека, за которым я исподволь наблюдал.

Уже позже – по ходу самой жизни в тесной трудовой атмосфере – из уст самого Жоры мы узнали о его «трех университетах», в которых он «отучился» семнадцать лет, а еще позже – в бане – увидели его «дипломы». К тому же он оказался очень начитанным человеком, благо у него на это времени приключилось, хоть отбавляй, и отсутствием памяти он не страдал, а потому периодически осыпал нас всякими умными цитатами. Вот таким непростым парнем

оказался Жора. Помню четко один момент, поразивший меня до глубины души: мы у экспедиционной кассы, в руках у Жоры деньги первой в его жизни зарплаты, а в глазах слезы. Помню фразу, слетевшую тогда с его уст: «Эх... мамуля не дожила». Помню, что меня этот, как мне показалось, опереточный уркаганский пафос разозлил. Я подумал: «А сколько же ты сделал в своей жизни такого, чтобы она не дожила до сегодняшнего дня? Пока на зоне, поете дифирамбы матерям, шлющим вам последнее, что у них есть, а приходите, так, мало, что отбираете у них все, еще и гнобите своими постоянными пьянками и нытьем о несостоявшейся жизни». Но стоило мне так подумать, как о себе тут же напомнила совесть – попыталась устроить экскурс в мою не менее, наверное, непростую историю отношений с матерью. Вот оно: не судите, да не судимы будете.

Все, о чем я говорил до сих пор, это, в общем-то, прелюдия к той истории, которая произошла в Свердловске – в аэропорту Кольцово, когда нам, вахтовикам, в очередной раз пришлось переждать непогоду, и мы все томились от безделья.

Мы стояли группой – человек десять, не меньше, кружком на первом этаже недалеко от касс и перебрасывались анекдотами. А Жора – я стоял так, что видел его – и старший рейса – начальник базы – находились шагах в трех от нас. Они о чем-то очень спокойно беседовали. Я даже слышал их голоса, но из-за шумового фона в зале, и тем более наших собственных разговоров разобрать, о чем у них шла речь понять не мог. До того самого момента, когда в кадре появился розовощекий, запыхавшийся от быстрой ходьбы, с лоснящимся от пота лбом майор в расстегнутой вверху шинели и фуражке набекрень. Вот тут я и услышал зычный голос Жоры.

– Майор!? Вы что себе позволяете!?

– Что...?

Майор казался мальчишкой рядом с Жорой. Судя по его возрасту, скорее, из штабистов – у них там все прекрасно с ростом. Он оцепенел в недоумении – кто перед ним. Но по лицу было видно, что сомнения его касаются только, скорее всего, ранга того, кто его остановил. Видно, Жора и вправду внушал, как и мне когда-то впервые показалось, не просто уважение – почитание.

– Майор вы как стоите перед старшим? Что это за внешний вид? Не слышал, чтобы вы представились.

Я уж не помню фамилии и всех остальных данных, которые выпаливал майор, бросив свой саквояж к ногам, нервно застегивая пуговицы, размеряя ребром ладони козырек фуражки и оправдываясь тем, что опаздывает.

Мы все застыли от неожиданности. Мы, замерев, затаив дыхание, пребывали в ступоре. Представляю, каково было в этот момент майору. Последнее, что он отчебучил, козырнул со щелканьем каблуков «разрешите идти».

– Свободны, майор! – Жора остановил его жестом, не дав возможности снова козырнуть, – Впредь, майор, не позорьте ни себя, ни тем более Советскую армию неподобающим офицера видом.

– Есть! – молодежато выпалил майор, видимо, довольный тем, как все обошлось. Он так же молодежато повернулся, сделал три четких шага и быстрой походкой направился к кассам в другой конец зала – от греха подальше.

Естественно, после такого представления Жора в экспедиции стал притчей во языцех. Если его и до этого знали по его импозантному внешнему виду, то теперь все его знали по имени и многие, проходя мимо, улыбались и приветствовали.

Однако продолжалось это недолго.

Через два, ну, три месяца после того – уже зимой, приехав на аэровокзал – на нашу очередную с Жорой вахту, я узнал трагическую новость. Она повергла меня в уныние: как все просто в этой жизни – вот он был человек, и вот его нет. Я вспомнил, как Жора радовался, что

вот-вот будет дома: говорил и стол уже, как пить дать, накрыт, и постель расстелена. А оно вот как: вошел в дом, а жена с любовником кувыркается. Сцепились. И вот тут корова и пригрела его чугунной сковородкой – насмерть.

Было грустно от того, что радость встречи с коллегами оказалась омраченной таким скорбным известием, но как всегда жизнь вносила в свое течение непредсказуемые коррективы. На языке – к моему большому неудовольствию крутилось, нарушая ощущение траура в душе, пару строк из какой-то пародии Александра Иванова: «Последнее, что видел он в тот миг, Был черный диск чугунной сковородки». И в этом была вся жизнь, с ее постоянными насмешками над человеком.

В грибы

Летом я попал в жуткую аварию. Тот, кто в меня въехал на приличной скорости, полагал, почему-то, что едет по главной дороге. А на самом деле находился на второстепенной. В итоге мы с машиной сотворили сальто-мортале через правый бок и оказались на тротуаре – на крыше, споткнувшись о бордюр и перескочив через газон. Слава Богу, в этот момент там никого не оказалось из прохожих.

Сам-то я отделался, как говорят, легким испугом – ушибами да царапинами, и больше был счастлив тем, каким образом все завершилось. Вот оно: все познается в сравнении.

Машине же моей повезло меньше. То, что произошло с ней, страховщиком впоследствии квалифицировалось как «гибель автомобиля». Прочитав эту фразу я, помню, проникся к своему искореженному железному коню с каким-то душевным теплом, словно к живому существу: он погиб, ушел из жизни, спасая меня в крепких объятиях ремня и подушки безопасности.

Это я все не к тому чтобы кого-то разжалобить, а к тому, что начавшаяся грибная страда застала меня без машины. Пришлось вспоминать те далекие времена, когда моими друзьями в такую пору становились часто весьма переполненные пригородные электрички.

В тот раз, войдя в вагон и оценив ситуацию, я нашел, что единственное свободное место – тут же – у дверей. И даже не одно – скамейка, спинкой которой являлась вагонная перегородка, рассчитана на двоих. Буквально через каких-то пару минут я осознал всю прелесть сидения на этом месте: дверь, постоянно возвращаемая пружиной назад, когда ее открывали, стала громыхать у меня прямо в голове, пока я не догадался хотя бы отодвинуться от стенки.

Умастившись, я бросил полупустой рюкзак на специально приобретенное для сбора грибов оранжевое с черной ручкой ведро и стал смотреть в удивительно чистый проем окна, восторгаясь шикарными осенними пейзажами. Три цвета в них – красный, желтый и зеленый, оспаривая свое право первой скрипки, перемежаясь, как в калейдоскопе, завораживали внимание.

Вспомнилась телепередача – из умных. Или из умных в кавычках: сейчас уж и не помню – лет десять прошло, не меньше. В ней какой-то ученый-геолог выступал – говорил, что в 2004 году из-за цунами в Таиланде земная кора на магме провернулась, и полюса от этого сместились. Говорил – на шесть градусов. Правда это, неправда, но вот с тех пор, я заметил, осень у нас на целый месяц затягивается, как, впрочем, и весна. Раньше – пришел октябрь, шарханул заморозок, листья облетели. И что толку, что потом снова бывает теплее, поезд-то ушел: красоты такой разноцветной, какую мы последнее время наблюдаем, и нет.

В какой-то момент электричка резко начала тормозить, чтобы вдруг снова начать ускорение, и я отвлекся от окна: ухо уловило какую-то особенную интонацию в голосе совсем уже зрелой сухонькой женщины напротив. Она сидела, по-старушечьи положив руки на колени, и мне показалось, что ей лет – точно не меньше восьмидесяти. Разместившийся рядом с ней со своей выдавшей виды спортивной сумкой небольшой тщедушный старичок, казалось, внимательно ее слушал. Но во всем его образе, в каком-то невидимом стремлении в ее сторону чувствовалось не то, чтобы нечто высокомерное, но все же нетерпение. Он словно бы никак не мог дождаться – когда же придет его очередь стать пророком. Это так смешно выглядело, что мою физиономию растянуло в улыбке.

– ... а вы уже пустили в свое сердце Бога? Без Бога жить никак нельзя. Я без него даже и жизни своей представить не могу. Бог с нами... – изрекла старушка с таким лицом, будто все знания мира ей давно уже известны, и она от этого, пожалуй, даже устала. Она напомнила мне некоторых родителей, публично отвечавших на вопросы своих чад, больше заботясь о том, как они выглядят перед окружающими, нежели о том, что они говорят своим детям.

– Я совершенно с вами согласен, – не выдержал старичок, – Бог это все в нашей жизни, – мне вдруг показалось, что он как-то изменился, – Я это так почувствовал, – заметил он с грустью, – когда моя Марья умерла... жена моя, – уточнил, словно его могли не понять, – А вы в какой храм ходите? Мне показалось, что вы говорили о церкви Святой Марии-Магдалины? – старик даже как-то сжался, замерев в ожидании услышать подтверждение. Его уже начинавшее морщиниться лицо говорило о желании этого. Ему так было нужно, чтобы они ходили в одну и ту же церковь.

«Ну и зачем тебе это? – подумал я, глядя на его седые, поредевшие волосы, давно уже тосковавшие по парикмахеру, – Неужели это вас может сблизить?» Почти тут же в груди стало нехорошо: чувство стыда, пусть не острое, но все же нарушило баланс благостного душевного состояния. «Ну, вот тебе: казалось бы, ни с того, ни с сего...»

«Неужели?» – подтолкнула совесть к правильной оценке.

«Да, да, да. Мне стыдно, пропустил происки гордыни. Каюсь».

Не скажу, что сразу полегчало, но все же раскаяние вещь великая: действует всегда.

– ... я живу совсем рядом, – вернулся в сознание голос старушки, давая мне понять, что желание старика удовлетворено, что они ходят в один и тот же храм и что есть еще одна причина, хотя бы на мгновение, не чувствовать своего одиночества, – Можно сказать в двух шагах. Знаете, магазинчик там есть маленький, с другой стороны улицы от храма?

– Да, – обрадовался старик, – я туда захожу иногда, когда... – он запнулся, но тут же продолжил, – когда нога сильно болит, хоть там и дороже все. В гипермаркет идти как-то...

– Во-от! – не стала дожидаться собеседница, – Так прямо за магазинчиком моя девятиэтажка... я тоже очень рада, что мы ходим в одну церковь, – спохватилась она, видимо, почувствовав, чего от нее хотят.

– Ну... а мне пора, – старик заметно засуетился: не знал, что делать с руками, потом схватился за ремень сумки, – Моя остановка сейчас, дача моя... еще два километра чапать...

Он вел себя перед этой уже давно потерявшей свою женственность старухой, словно школьник перед школьницей, и мое спонтанное мышление меня снова подвело – мерзко напомнило о старческом маразме и о смехотворности сцены, за которой я наблюдал. И мне снова стало как-то неудобно перед этим человеком, жизнь физического тела которого подходила к концу, но который душой отчаянно продолжал жить и тянуться к другой душе, несмотря ни на что.

– Я думаю – скоро увидимся... в воскресенье, в храме. Я обычно сижу впереди, справа, – пришла она ему на помощь.

– Точно! – обрадовался он, – Я и не подумал даже. До воскресенья?

– До воскресенья, – ответила она.

А меня вдруг пронзило понимание того, что кто-то из них до этого дня может и не дожить. «До какого воскресенья? – снова ожил во мне циник, – До следующей жизни?» И опять я пережил неудобство. «Да что ж это такое сегодня?»

Женщина перекатила свою сумку на колесиках к окну и пересела на место своего ушедшего в тамбур собеседника. А я, обрадовавшись, что появилось место, где меня не так будет раздражать хлопанье дверей, особенно перед остановками и после них, пересел на ее место.

Электричка «завыла», рванув от очередной станции, и я снова стал смотреть в окошко, только теперь уже вперед по ходу поезда. Иногда мой взгляд перескакивал на затылок старушки – на коричневый платок, белыми тонкими линиями расчерченный в крупную клетку.

Она вдруг обернулась, словно почувствовав, что я наблюдаю за ней.

– Не правда ли, прекрасно? Какую красоту Бог показывает нам. А вы пустили Бога в свою душу? – завела она свою старую пластинку с новым собеседником, – Верите в Бога?

На ее лице снова появилась улыбка, ясно дававшая мне понять, что я сейчас общаюсь, если не с самим Богом, то уж с его представителем на Земле точно. И в последний момент в мое сердце вновь прокралась гордыня.

– Нет, я не верю в Бога...

– Как же? – не дождалась моя собеседница конца фразы, – Вы, вроде, не такой уж и юный и должны бы уже страдать...

Я не сразу понял, что она имела ввиду: а что – юные разве не страдают? Разве страданий мало в любом возрасте? И тут до меня дошло, о каком страдании она говорит: о том, которого не испытываешь, пока не обзаведешься семьей, пока не пропустишь через себя цикличность социального развития, пока, наконец, сам не почувствуешь за спиной дыхание смерти. Я вдруг вспомнил анекдот, где фигурировали записи из дневника одной особы. В четырнадцать лет она писала, что «мама такая дура, такая дура: ничего не понимает в этой жизни». В двадцать четыре, что «мама оказалась не совсем глупой женщиной: кое в чем она оказалась права». А в тридцать четыре – «почему я была такой дурой, что не слушала маму?» Вот они – настоящие страдания, где ты зажат между начинающими разбиваться амбициями детей с почти невыносимой душевной мукой от собственного бессилия помочь и все более нарастающими страхом потери и виной перед стареющими родителями. Гордыня под натиском осмысления отступила, захватив с собой претензии на оригинальность, и мне просто захотелось поделиться тем, что мне дано было узнать о Боге, пока я искал его посредством логики. Это продолжалось чуть ли не половину моего существования – до того момента, как жизнь осчастливила меня больше месяца захлебываться слезами, однажды трансцендентно соприкоснувшись с его милостью.

– Извините, я просто не успел договорить: я не верю в Бога, потому что знаю, что он есть, – я улыбнулся, совершенно забыв о превосходстве, которое совсем недавно начинал испытывать, – Это просто каламбур: зачем мне во что-то верить, если я знаю о его существовании?

Кажется, я уже начинал жалеть о сказанном, увидев след несоответствия в удивленном выражении лица: между тем, чего хотел и чего добился. Но вдруг во взгляде что-то изменилось.

– Ах вы, шутник! – она заулыбалась той улыбкой, в которой все еще остается капля недопонимания, но эта капля уже не может изменить назревшего единения душ, – А я уж было подумала... Такой взгляд у вас был... Значит, вы все же пустили в свое сердце Бога?

– Да нет же! – засмеялся ее неумной настойчивости я, – Я родился с Богом в сердце.

Она потерялась, видимо, не сумев передать словами всю сложность гаммы чувств и мыслей, нахлынувших на нее. А я не стал ей помогать выходить из этого состояния – забалтывать то впечатление, в которое ее ввергло несоответствие между тем, что она слышала до того и моим для нее словоблудием. А что я мог ей объяснить? Свое понимание Бога? Но для этого и целой жизни бы не хватило, ведь Бог, пока мы не преодолеем завесу, у каждого свой – тот, до которого мы своими страданиями смогли дотянуться.

– Асино. Следующая остановка – Мезиновка, – прорекли динамики казенным женским голосом.

– Ну, вот и мне пора, – я поднялся, забросил рюкзак на спину и взял свое оранжевое ведро, – Всего вам доброго.

– Храни вас Бог, – ответила старушка, И я понял, она обязательно проводит взглядом странного собеседника. Мне показалось, что она с какой-то завистью посмотрела на меня, когда мы с ней – глаза в глаза – прощались. «Может, ей тоже хотелось бы пойти в грибы, да здоровье уже не позволяет? Нет, глупость», – подумал я, но тут же забыл об этом, лавируя между тележками по пути в тамбур. Я уже внутренним взором видел их. Грибы ждали меня везде: на полянах, во мху, в траве, в осинниках и березовых рощицах, на пнях и вокруг них. Белые, подосиновики, подберезовики, лисички, опенки и рядовки. И мне больше не был интересен тот Бог, который интересен был старушке, с чьей душой, я, не то, что сошедший передо мной старик, уж точно, больше не соприкоснусь в этой жизни. Почему? Да потому что я и в своих-

то храмах бываю лишь на Пасху да на Крещение, а в католические, по понятной причине, и вовсе не хожу, да и живу-то в другом конце города.

Герои

Если вы не служили в Советской армии, бьюсь об заклад, вы не умеете намазывать масло на хлеб. Вы представления не имеете, что масло на завтрак может быть маленьким желтеньким цилиндром.

Я говорил о намазывании масла на хлеб? Я неправильно выразил мысль. Оно не намазывается. Оно располагается по всей поверхности белого квадрата хлеба, тщательно заполняя каждый пробел. Это не какой-то там процесс. Это таинство. Это магическая операция, от которой зависит весь последующий день.

Но это еще что. Это, конечно же, не сравнится с таинством утра воскресного, когда из такого вот хлеба с маслом создается шедевр армейской кулинарии – бутерброд с яичными желтками. Если вы не служили в Советской армии, вы даже представить себе не можете воскресный завтрак.

Всем известно, что яйца состоят из белков и желтков. Но не всем – что они аккуратно разделяются. Белки при этом отправляются в кашу – измельчаются там столовой ложкой. А вот желтки – желтки разрезаются каждый на две части, укладываются по четырем углам скибки белого хлеба на масло, и так же, как и масло равномерно распределяются по поверхности, тщательнейшим образом приводимые к армейскому порядку и единообразию.

Вот и все. Само по себе употребление этого шедевра, конечно, можно отметить отдельно. Но это, по сравнению с подготовкой, уже просто процесс. Никакого таинства.

Воскресный завтрак – это здорово. Это – лучшее, что есть в обыденности солдатской службы. Я, конечно, не беру во внимание увольнения и самоволки. Это отдельная тема. А вот худшее, что может быть в армии, это наряд по столовой. Там изнанка воскресного завтрака. Особенно, если ты еще, как солдат, молод, и тебе еще многому нужно поучиться. Если не повезет, учиться придется в посудомойке. Если не повезет не очень – то в картофелечистке.

Нам с товарищем не повезло не очень. Вместо слезоточивых паров горчицы, которую использовали для обезжиривания посуды, и чавкающих от всепроникающей воды сапог, судьба в лице ротного определила нам достаточно большие и неудобные для чистки картофеля ножи.

Если бы мы были старослужащими, у нас могли бы быть свои – складные. Ими было бы удобнее чистить овощи. Но если бы мы были старослужащими, то нас бы не определили в одно из адских мест в наряде по кухне. Вот такой грустный солдатский каламбур.

Картофелечистка, или корнечистка, как ее еще иногда называли, довольно мрачное полу-подвальное помещение, хотя и с высокими потолками. Без единого окна и очень сырое, а потому с облезлыми стенами. В ней три чугунные – на лапах, как в старых городских квартирах, ванны. Куча разных железных оцинкованных баков и дюралевых бачков из-под первого. Пол бетонный. В нескольких местах с красной метлахской плиткой. Вдоль стен, у самого пола, старые ржавые с полуоблупившейся краской трубы. Те, что тоньше, подходят к ваннам и заканчиваются такими же старыми кранами, тускло поблескивавшими начищенной латунью. А толстые – уходят от обшарпанных ванн, местами с побитой эмалью и в ржавых потеках, в канализацию.

Такая унылая картина встретила нас в первом наряде по кухне. Сама обстановка уже не сулила ничего хорошего. Даже мысль о том, что здесь придется провести следующие сутки, уже навевала драматизм в настроение. А ведь еще нужно было и пахать как проклятому. Пацаны, побывавшие прошлый раз здесь, когда мы с Володей, «шланганули» от кухни в карауле, рассказывали, что после наряда пальцы у них к вечеру уже не разгибались. Так вот и норовили вернуться в прежнее положение: на одной руке, как будто держали нож, а на другой – картофелину. И мало того, они еще были сморщены и ничего не чувствовали. Такая перспективка ожидала и нас. И как тут без драматизма обойдешься в этом тюремном каземате.

Старший сержант Сливко, статный хохол последнего полугодия службы – помдеж по кухне, мешая украинские и русские слова, пригрозил нам, «салабонам», всем, чем мог, если мы пропустим «хоть одного козла». Уходя, бросил:

– Глядеть, хлопцы, если меня дежурный ткнет носом, замордую.

Уже в дверях, обернувшись, повысил голос:

– Через час приду – проинспектирую. Не дай баже, – он нарочито надавил на второй слог, – будете шланговать... сами знаете.

Мы все знали сами – не первый день замужем за армией.

Володя оценивающе посмотрел на свой выдавший виды с деревянной ручкой тесак.

– И вот этим чистить картошку? – возмутился в пустоту, – Да им же свиней колоть можно.

Ну, насчет свиней он загнул. Ножи хоть и были длинными и широкими, но из тонкой стали. Их можно даже было согнуть, особенно в середине, где они от частой заточки и мягкости металла сузились – поизносились.

Я исподволь наблюдал за Вовиком. Он, засучив рукава, орудовал с бачками и стулом, удобнее расставляя все это хозяйство. Мне ничего не оставалось, как проделать то же самое, осознав разумность подхода.

Первый час прошел быстро. Мы чертыхались и матерились, но поставленную задачу выполняли. Самое неприятное при «снятии шкуры» с картофеля оказалось выковыривание «козлов». Представьте себе нож, у которого лезвие около сорока сантиметров длиной – с довольно неострым кончиком, и вам сразу станет понятным данный творческий с нецензурными комментариями, акт. Постепенно, конечно, ручки приноравливаются к этой операции, но сложность ее тем не менее никуда не девается.

– Вовик, а давай что-нибудь придумаем.

Я это сказал так, просто чтобы прервать затянувшуюся паузу, во время которой уже прокрутил в голове кучу всяких рационализаторских подходов по упрощению нашей и без того простой работы. Ответа я не ждал. Думаю, что Володя также над этим поработал. Я вдруг осознал, что кучи народу на нашем месте уже проникались такими изысками, от чего на душе стало весело. Вот уж поистине: нет большей радости, чем горе ближнего. На этот философский пассаж память, отреагировав, услужливо вытащила из своих закровов старый анекдот.

– Вовик, а хочешь анекдот?

– Валяй, – Володя, до этого мурлычущий себе что-то под нос, бросил демонстративно нож, – Пять минут перекур.

– Может ты его слышал...

– Может и слышал, – перебил он, – оставь свои прелюдии. Я сказал – валяй.

– Ну ладно. Слушай. Наш советский матрос сошел на берег в иностранном порту. Валюта в кармане. Времени свободного – хоть отбавляй. Впереди – кабак и бабы. Настроение – лучше не придумаешь. И тут... на его пути – автомат... Ну, такой, примерно, как наши с газировкой. А на автомате – надпись, что за десять центов, ну или там еще чего...

– Да ладно тебе, – перебил Володя, – центы, тугрики – какая разница.

– Ну вот... короче, за десять центов этот автомат испортит вам настроение. «Мне – настроение? – думает матрос, – Да что мне сейчас может испортить настроение? Впереди пойло и бабы. Ха-ха-ха». Бросает монету и...

Я сделал паузу – посмотреть на Вовкину реакцию, потому что взгляд у него какой-то очень уж сонный.

– Ну, чо ты резину тянешь? И...

– Ну, и из автомата – шах! – прямо в матроса – маленькая лопатка дерьма. Короче, матрос весь в дерьме. Настроение – хуже не придумаешь.

– Прямо-таки весь?

– Ну, не весь. Неважно. Главное – в дерьме... Не перебивай... Что делать? Вернулся он быстренько на корабль, снял с себя формягу, помылся, переоделся, и быстрее в город. Время-то идет. И вот только он прошел стороной первый автомат, а тут – еще один стоит. А на нем...

– Санек, хорош выкаблучиваться, заколебал ты уже своими паузами – Станиславский хренов, – в голосе Вовчика прозвучало нетерпение, анекдот, видно было, его зацепил.

– Ну, ладно, – снизошел я, ощутив легкий налет власти в сложившейся ситуации, – слушай. Короче, на нем написано, что за пятьдесят центов, он поднимает настроение. «Нет, – думает матрос, – вряд ли мне уже что-нибудь поднимет настроение». Но любопытство есть любопытство. Сунул он полтинник в щель...

– Санек... – Вовка расплылся в улыбке, – слово «щель» попрошу не поминать всуе, а то у меня не те ассоциации возникают, – он был весьма доволен своим юмором. Судя по выражению лица, наверное, Эйнштейн с реакцией на свои открытия отдыхает.

– Так что? Анекдот уже можно не рассказывать? – я ощутил легкое недовольство: меня перебили на самом, можно сказать, кульминационном моменте.

– Не, ну а чего ты? Сам виноват. Давай, рассказывай, – вальяжно разрешил Вовка.

С настроением рассказывать мне уже не удавалось. Я констатировал, что из автомата выскочила большая лопата с экскрементами и швырнула их в толпу. Эффекта не получилось. Сам виноват, нефиг было про щель говорить этому сексуально озабоченному придурку.

Наступила длительная пауза, увенчанная еще двумя выварками желтого и белого картофеля – мы с товарищем шли нос в нос.

Заходил Сливко. Похвалил даже, но тут же обляял – обозвал по-всякому и приказал не расслабляться.

Прокомментировав, как смогли, посещение сержанта, мы снова взялись за работу. Руки уже начинали плохо слушаться. В помещении – совсем не жарко. А тут еще постоянный контакт с холодной водой и с такой же холодной картошкой. Осень на дворе сказывалась и здесь. Но в картофелечистке все же теплей. Я это ощутил, когда выбежал на улицу по нужде. Дело в том, что дверь в наше помещение выходила во двор столовой, и другой – внутренней предусмотрено не было. С нашей дверью, рядом, находилась еще одна, ведущая на саму кухню. Вот такое вот, не очень удобное, сообщение.

На улице шел дождик, который в обиходе называют пылью морской. К тому же было ветрено и холодно. Так что в нашем каземате – почти райские условия.

Ближе к одиннадцати пришли пацаны из посудомойки с помдежем и одним из поваров и забрали часть нашей работы для готовки завтрака. По прогнозам повара нам еще нужно было три-четыре – «лучше четыре» – выварки картошки к завтрашнему обеду. Сливко для профилактики нас пообзывал, пригрозил расправой, если «щцо» не так, и позволил идти поспать после выполнения очередной нормы и доклада лично ему.

– Карачей, балбесы, – он снисходительно заулыбался, – слышали, шо сказал кашевар? Дерзайте. Щоб к двенадцати все было на мази. А то – глядите мне. Тебя, капрал, то касается в первую очередь. С тебя спрос.

Капрал – это я. Три недели назад я получил звание младшего сержанта в учебке, в Ганжунае. А после полугодичного обучения в учебном подразделении, как у нас шутили, мне уже не страшен был даже Освенцим. Что там какая-то картофелечистка, в которую я напросился самостоятельно, потому что сержантский состав, даже «салабонов», в такие наряды не распределяли. Для смеха комроты изрек: «Ну, раз уж хочешь поддержать товарища, назначаю тебя старшим», – и расхохотался. Так, ему показалось, это смешно звучало. Рота, конечно же, его смех подобострастно поддержала, особенно старослужащие сержанты.

Успеть до двенадцати было совсем уж невероятно, но поднапрячься придется. Через полчаса мы «облупили» столько, сколько в предыдущий период делали за час. Стимул подействовал. Вовка не отставал.

Володя пришел в войска со спортнабором, как это называли в полку, прямо в нашу нынешнюю часть. Я же, как уже говорил, – через учебку. Он числился пулеметчиком в отделении, командиром которого был я. И как-то слово за слово, мы с ним сошлись: он – из Витебска, а у меня в Витебске куча родственников. И дядька, и тетка, и сестры. И вообще – я Витебск любил, и бывал там до армии неоднократно. Короче, мы с ним подружились. Вот почему и оказались вместе.

А дальше случилось кино.

Дверь, видимо, открывали ногой. Я сидел задом к ней, и осознание того, как это происходило, мне подсказал слух и чутье. Я вздрогнул и, уже поворачиваясь, заметил, как Вовчик резко вздернул голову и замер: в проем двери, на фоне ночной темноты, вваливалась человеческая туша. «За сотню, точно», – пришла мысль. Туша, шурясь, сделала шаг в нашу сторону. За ней свет картофелечистки обозначил вторую фигуру – поменьше, но, однако, тоже не мелкую. Тот, что поздравей – я узнал его – из «королевской» роты – по-хозяйски оглядел нас с Володькой.

– Ну что, салабоны? Жить-то хотите? – на его лице появилась пьяноватая наглая улыбка.

Я, честно говоря, сразу струхнул. И самое главное, не от того, что мне могут набить физиономию или что фингал заполучу. Нет. У меня всегда так. Первая реакция – это испуг. Сколько помню себя. Я даже автоматически съежился, как будто меня прямо сейчас будут казнить, и я с этим ничего не могу поделать.

– А чо, в девятой роте уже рядовых не хватает? – ухмыльнулся первый, –Смотри-ка, Череп, – он ткнул в мою сторону пальцем, обернувшись к товарищу, – Капрал, – и отвратительно загоготал.

Вот теперь я по-настоящему рассмотрел второго визитера, а то кроме здоровяка ничего не видел, сидел как замороженный кролик перед удавом. Второй, по сравнению с первым, худ, но, видно по всему, не слабак. В руках он держал дюралевый бачок.

Мы с Володей, как по команде, встали и сделали по паре шагов назад – автоматом. К тому времени я уже очухался от начального шока. Вселенская угроза, вошедшая с этими двумя парнями в претенциозно ушитой форме, уже как-то съежилась и сконцентрировалась только в них.

Череп демонстративно бросил на мешок с картофелем свой бачок.

– Ну-ка, салабоны, – безапелляционно бросил он, – быстренько наложили. Да полный. Да смотрите, не дай бог «козла» увижу.

Первое, что хотелось сделать, первый порыв – броситься исполнять приказание. Вот до чего довела каждодневная муштра. Но что-то во мне сопротивлялось этому порыву. Казалось бы, что тут такого? То же самое унижение, что и в роте. Но, нет, что-то все же было не то. Это ведь не наши командиры, перед которыми наше унижение было оправдано порядком, определенным уставом и армейскими традициями. А здесь...

Боковым зрением я уловил сомнение и у Вовчика. Нет, не то, чтобы я это увидел. Я это почувствовал. И тут вдруг меня пронзила мысль: Вован готов к драке. Мне на мгновение снова стало страшно, я почувствовал, как по мне растекается очередная порция адреналина, как загустевает кровь.

– Тебе надо, ты и набирай, – услышал я тихий, но достаточно спокойный голос друга. И это подействовало на меня как бальзам на раны, как лекарство для моей мятущейся души. Приступ одиночества развеялся: мы с Вовчиком – одно целое, и я осознал, что теперь смогу преодолеть, что угодно.

– Не, Толстый, ты видал? – театрально удивился Череп, – Нас здесь не уважают. Салабоны нух совсем потеряли. Вы хоть знаете, с кем вы имеете дело? – он обращался больше к Вовке, потому что ближе к нему стоял. В его фигуре я учуял напряжение. Видно было – в любой момент может ударить. А Вовкина поза говорила, что он это тоже прочувствовал.

Так и случилось. Череп сделал короткий шаг вперед с почти одновременным правым боковым в Вовкину челюсть.

Дальше все как в тумане. Я увидел, как мой друг присел, как кулак Черепа пронесся у него над головой, как Вовка выпрямился и нанес ответный прямой с сильным выдохом удар. Увидел падающее тело и услышал очень специфический глухой стук затылка о бетонный пол. Это все длилось мгновение, но для меня почему-то вся эта картина предстала растянутой во времени.

Толстый на миг оторопел. Но этот миг я увидел только в своем растянутом восприятии. На самом деле он четко сориентировался и когда Вовка оказался к нему боком, схватил его всеми своими ста десятью или ста двадцатью килограммами и завалил на пол. Силы явно оказались неравными. Вовчик отчаянно барахтался. Это-то его и спасло: Толстый ни разу не успел его ударить, пока я выходил из ступора.

Не помню, что я успел подумать, но лежавший на мешках бачок, с которого Череп начал свое выступление, стал в моих руках орудием возмездия. Я, как мог, не сильно приложился им к башке Толстого. Бак довольно тяжелый, и, несмотря на ситуацию, я все же сориентировался: если ударить сильно, да еще ребром – это явная смерть. Но и слабо ударить такую тушу – проку может быть мало.

Толстый обмяк и ткнулся бы лбом в лицо Вовки, если бы тот ловко не увернулся. Вовчик выкарабкивался из-под него, словно из-под трупа, нарочито показывая свою брезгливость.

– Саш, – я услышал осипший, не его голос, – ну спасибо тебе. Думал все, капут мне, задавит. Судя по ломаным ушкам, борьбой, гад, занимался, – Вовчик все еще хватал воздух – никак не мог надыхаться – и одновременно отряхивал форму, – Ты хоть не убил его?

С этого момента я по-настоящему стал приходить в себя. Меня пронзила тревожная мысль, что как бы я ни был в данной ситуации прав, но если Толстый крикнул, если ему каюк, то каюк и мне. Пелена боевого транса, до этого защищавшая меня от врага, спала, и я занервничал от навалившейся ответственности, наложенной на меня законами социума. С большой неохотой подошел к лежавшему без движения телу и склонился над ним.

Волны счастья охватили меня: я услышал дыхание того, кого только что начинал считать трупом.

Рядом с Толстым – перпендикулярно к нему – лежал Череп. Около – виднелась небольшая лужица крови.

– Этот жив, – я не узнавал свой голос, – а тому, пожалуй, еще хуже, чем этому. Ну, мы попали с тобой, Вован. Это же ЧП союзного масштаба. Нас же с тобой точно замордуют.

Вовка, и без того близкий мне в этой проклятой армейской жизни человек, вдруг оказался в моем понимании ситуации еще ближе, он стал мне братом, с которым мы сейчас представлялись одним полюсом, когда на другом весь остальной мир.

– Во пацаны за картошечкой сходили, – нервно усмехнулся Вовка, – Надо идти докладывать начальству. И я даже знаю, кто пойдет.

Делать нечего. Субординация есть субординация. Докладывать, конечно же, идти мне: Вовчик – рядовой. К тому же я еще и его командир по штатному расписанию. Я представил Сливко, его противную физиономию, вечно ухмыляющуюся, как будто он телепат, читающий твои мысли, и знающий, что ты – сволочь, которая по природе своей умеет только пакостить.

– Ладно, пошел, – я обреченно посмотрел на Вовку.

Он опустил глаза, как человек, который понимает, что ничем не может помочь, но в то же самое время ощущает из-за этого чувство глубокого стыда, как будто он отправляет на казнь невиновного, когда на самом деле должен быть на этом месте сам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.